

# «ДАЙ РЕЧИ ТЕЧЬ, ПОКА ОНА ЖИВА...»

Галина Климова



Фото Сергея Надеева

**91** -й день рождения Александра Михайлович Ревича встречали без него. Не дотянул всего-то чуть-чуть, но впечатление закольцованности жизни и судьбы осталось: живой стеной стояли стихи, крупным планом — поэмы, которые он не вынашивал и не выстраивал, — они будто с неба на него падали сном, видением или воспоминанием, и он спешил их записать — на одном дыхании, в один присест. О поэмах Ревич радел особенно — как о своих дражайших чадах, и относился к ним с большим трепетом, чем к стихам. Написано 33 поэмы. Столько раз, наверно, он вдохновенно покорял воображаемые Эверест, Эльбрус, Монблан...

Александр Михайлович Ревич, а для домашних и друзей — Алик, не был человеком стаи или тусовки (тогда и слова-то такого не знали), для многих, предпочитающих беглое мелкоформатное общение, он был неудобно крупной личностью: самостоятельный, бескомпромиссно резкий в суждениях и жестках. При этом он один из немногих современников — своеобразный магнитный полюс, сплотивший и крепко державший свой круг — пестрый, разновозрастный, разбросанный по миру. Кто относился к кругу Ревича? В большинстве своем пишущие люди: поэты, стихотворцы, переводчики, прозаики, литературоведы, художники, студенты, священники, врачи и — чистой воды графоманы. Круг не был чем-то незыблемым, неожиданно куда-то пропадали одни, прибывались другие, возникали новенькие. Он умел дружить и часто вспоминал своих старших друзей — Акимыча и Арсения — Аркадия Штейнберга и Арсения Тарковского, цитировал их, читал наизусть и посвящал им свои стихи и поэмы. С большим пиететом относился к Учителям: Пушкину, Лермонтову, Блоку, Пастернаку, Маяковскому, Ходасевичу. Благодарно помнил и писал об Илье Сельвинском, Павле Антокольском,

Георгии Шенгели, Анисиме Кронгаузе, Петре Семьинине, Николае Глазкове и о других, близких по духу.

Ревич любил открывать людей, влюблялся в чужие стихи легко и безоглядно, а это — особый дар, довольно редкий для поэта. Он разглядывал автора страстно, придирчиво, почти по-научному — через лупу, очень ценил нравственные качества личности — как фундамент таланта. Даже слабые, но живые искренние стихи трогали его много больше, чем стёб, конструкты или цирковые трюки, пусть даже виртуозные.

*Когда нет жалости, какие там стихи!  
Устал я, милые, от всяческих ухваток,  
От силы напоказ, от прочей шелухи,  
От бега взапуски, —  
и так покой наш краток.*

Об этом же через 10 лет:

*Как немощны слова, когда они — слова.  
Уж лучше бы они смиренно помолчали,  
Как робкая душа пред ликом Покрова.*

Ревич, если не знал заинтересовавшего его автора, поднимал всех на ноги, требовал немедленно найти, доставить или, на худой конец, дать телефон, чтобы потом уже самому зазывать к себе счастливого, приближать, притягивать, влюблять в себя, рассказывать о нем друзьям и знакомым, часами зачитывать их по телефону полюбившимися стихами и при этом, конечно, действительно помогать виновнику, ставить на ноги, выводить в литературу. Сколько людей подпишет под этим! Кто еще так открыт и щедр в своей любви к поэзии? К кому прислониться, кому может довериться начинающий или непризнанный автор?

Вот один из примеров. Когда умер наш общий друг Михаил Письменный, очень самобытный, талантливый, но почти незамеченный писатель, Ревич распорядился:

— Мишу надо издавать, несомненно. Вот деньги, — и без всякого пафоса предложил впечатляющую сумму.

Оставалось лишь подтянуться и последовать примеру нашего Алика, преподавшего не только урок писательской солидарности, но и

любви, деятельного участия и признательной памяти к тем, кто ушел. Так общими усилиями друзей вышла в свет книга повестей и рассказов Михаила Письменного «Блатное и балетное».

Ревича любили и боялись. Доверяли его вкусу и поэтическому слуху, испытывали себя, давали книги, просились в ученики, в товарищи по цеху. Оценка Ревича — это знак драгоценной пробы. Все знали его взрывной крутой нрав, нелюбимые и очень резкие — не шепотком, а в полный голос — суждения (не взирая на известность, возраст, чины и степень дружеской близости) не только о поэзии современников, но и классиков. Он был не склонен и постоянен в своей любви, и в своем неприятии. Опрямительно было вступать с ним в дискуссию о Гумилеве, Мандельштаме, Ахматовой, Бродском, а если вдруг такое случалось, отстреливаться приходилось до последнего патрона... Но был и отходчив, и незлопамятен, как и подобает крупной личности с трагическим мировосприятием. Не сказочным оловянным солдатиком — Ревич на всю жизнь остался боевым солдатом с осколком в легких — солдатом штрафбата. Это многое объясняет в его жизни и поэтической судьбе.

*Все это было когда-то  
И остается вовек:  
Черные строки штрафбата  
В белый впечатаны снег.  
Жизнь завершается наша  
Зимней атакой во сне.  
Выпита полная чаша,  
Самая малость на дне.*

Какой для Александра Ревича была Великая Отечественная?

ВОТ ЕГО РАССКАЗ:

*Я родился в 1921 году в Ростове-на-Дону. Когда началась война, я уже служил в армии.*

*10 июня 1941 года окончил Орджоникидзевское пограничное училище в звании лейтенанта, а 21 июня 1941 года был откомандирован в Одессу к своей воинской части, рядом с советско-румынской границей.*

Находясь в увольнении, мы с несколькими командирами Красной Армии немного выпили. Утро следующего дня — воскресенье утром было замечательным, теплым и солнечным. А в полдень мы услышали речь Молотова, сообщившего, что на рассвете немцы бомбили Ленинград, Севастополь, Киев и Одесу... Началась война.

Я не любил говорить о войне, хотя о войне мной написано немало. Кроме того, рассказы о войне, особенно в пьяной компании, часто напоминают «охотничьи» и «рыбачьи»: во-от та-акую щуку поймал! Стыдно бывает не только говорить, но и слушать такое.

И все же, несмотря на мою нелюбовь к подобным байкам, по окончании войны я рассказал моему ныне покойному другу, русскому и украинскому поэту Павлу Панченко о том, как воевал. Рассказал скупо, почти протокольно, как при допросе в Особом Отделе Южного Фронта.

Кавалерийская часть Одесского военного округа, где мы служили, в первых же боях лишилась практически всех коней. Что касается бойцов, то в нашем полку была не только молодежь, но и много взрослых мужиков, призванных из запаса.

В начале войны мы вынуждены были отступить. Мне приходилось наблюдать панику во время отступления, которое официально называлось «плановым отходом», а по-нашему — «драпом», когда воинская часть превращалась в неуправляемую толпу и когда, потеряв всякую надежду, небольшая группа солдат отстреливалась до последнего патрона.

Мой приятель-фронтовик, попавший на фронт в 1942 году, однажды сказал: «Представляю, каково было вам воевать в 41-м...»

Любая страна, любая армия при таком разгроме, какой мы пережили летом 41-го года, не могла бы выстоять против гитлеровской военной машины. Примером тому — Франция. Мы одолели эту силу за счет огромной территории и людских резервов, жертвуя миллионами жизней.

Я и сегодня удивляюсь, как вообще могли воевать, ведь мы были совершенно не готовы. Те, кто заявляют, что Сталин планировал напасть на Германию, — отъявленные лжецы: у нас не было необходимого вооружения, чтобы вести эффективный бой. Нам не хватало очень многого!

8 августа я получил приказ от командира: взять взвод разведки и выяснить, где находятся немецкие войска. Наша часть в это время отступала в районе между Николаевом и Березовкой. Неожиданно мы напоролась на немецкую танковую колонну и попали в «котёл». Всё произошло как внезапно, что последнее, что помню, — орудие одного из танков, нацеленное прямо на нас. И всё. Затем — провал. Это был мой первый бой: кавалерия против немецких танков.

Когда очнулся, меня уже окружили немецкие мотоциклисты. Они собрали всех, кто мог идти, отделив командиров от красноармейцев. Нас пригнали на вокзал в Тирасполе, откуда поездом должны были увезти в Румынию. К счастью, поезд охраняли румыны, а не немцы, и это дало нам шанс на побег. Вагоны были товарные, без крыши. Мы договорились бежать ночью, а утром я нашел только одного моего товарища — Валентина Лихачева, военного инженера III ранга. Что стало с остальными, не знаю. Следующую ночь в прифронтовой полосе мы с ним переждали в кукурузном поле, а утром двинулись к своим. Подкрались днем к стоящей на отшибе хате и постучали в дверь. Вышла девушка, красивая украинка, которая, увидев нас в форме командиров РККА, всплеснула руками: «Вы что, с ума сошли? Немцы кругом!». Однако в дом впустила, накормила и даже дала кое-какую крестьянскую одежонку, лапти лыковые и старые картузы. Мы поскорей ушли, чтобы не подвергать риску нашу смелую хозяйку. Пробираясь от села к селу, где было возможно, представлялись сезонными работниками и помогали по хозяйству, а нас за это кормили и давали что-то съестное с собой. Так почти дошли до Азовского моря.

Но однажды ранним туманным утром нас все-таки задержали немецкие полевые жан-

дармы. Бежать было некуда. В тот день в поселке, где мы шли по улице, задерживали всех подозрительных бродяг.

Это было в ноябре 1941, неподалеку от Таганрога. Зима выдалась ранняя. Уже выпал снег, и холода стояли нестерпимые: вроде бы юг, Приазовье, но температура выше десяти градусов мороза, но — открытая равнина, ураганный степной ветер да и одежда не по сезону. Нас погнали куда-то вперед, и уже в полдень мы оказались в немецком лагере: аккуратный квадратный километр заснеженного поля, обнесенный колючей проволокой в три кола, и ни одного строения в этом квадрате, только угловая деревянная вышка с часовыми и с пулеметом. За проволокой топтались на холоду несколько тысяч задержанных. Едва держась на ногах, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, рассказывали для куражу скабрзные анекдоты и байки, смеялись. Из обрывков газеты и ваты, выданной из рваных телогреек, скручивали что-то вроде цигарок и втягивали в себя едучий дым. И ждали...неизвестно чего. В этом лагере не давали никакой еды. Чем скорей подохнешь, тем лучше. Позже я узнал, что были у немцев такие лагеря — «голодные». Там, случалось, пленные ели друг друга. Эти несколько дней и ночей голодного и бессонного топтания на снегу закончились невыносимым везением. Нам двоим — мне и Валентину Лихачеву — удалось бежать из лагеря на открытой равнине, средь бела дня. В такое невозможно поверить. Раз в день на рассвете группу пленных выгоняли на дорожные работы. Где-то поблизости строили мост. Отбирали несколько сотен доходяг из тех, кто успевал пробиться в строй. Остальных отсекали пулеметной очередью. Люди рвались в колонну: еще бы, там, на работах местным крестьянам разрешалось бросать нам куски хлеба или еще какую-то еду. После двух неудачных попыток нам удалось пристроиться к рабочей колонне, а при выходе из лагерных ворот, ничего не сообщая, я вцепился в рукав Валентина, выволок его из строя и — дальше, за кусты, росшие вдоль лагерной ограды. Потом мы прыгнули в ров и прятались там до темноты, а глубокой ночью ушли подальше от лагеря. На волю. До сих пор не

могу объяснить, почему именно я решился на такое, ведь Лихачев был лет на десять старше меня.

Есть во мне чувство, что кто-то вел меня. Странно еще и то, что наш побег на глазах у всей колонии не вызвал никакой реакции. Конвоя поблизости не оказалось, а пленные, отрешенные и оцепеневшие, брели, видимо, ничего не понимая.

В тот миг впервые пришла мысль о Боге. В смертельно опасных случаях все время что-то меня берегло. Чья-то невидимая рука...

Я прошел 12 километров по льду Азовского моря, перешел линию фронта. И окрику «Стой! Кто идет??» я ужасно обрадовался: наконец вышел к своим!

И тотчас попал в руки следователя НКВД.

До мая сидел в Ворошиловградской тюрьме. Меня допрашивали, будили ночью, вели на допрос и, чтобы выбить признания, не давали спать. Со мной в камере сидел уголовник, который всю ночь точил самодельный нож, приговаривая: «А ночью я кого-нибудь зарежу...»

Следователь — молодой здоровенный лейтенант НКВД — был начисто лишен всякого чувства сострадания и жалости. Он не бил подследственных, но оказывал постоянное психологическое давление. Однажды дал какую-то бумагу и сказал: «Подписывай, это твое заявление».

В документе — ни одного моего слова, все полностью сфабриковано! Я категорически отказался подписать, и тогда он стал меня избивать резиновой дубинкой. Ее удары значительно больнее, чем деревянной. Я схватил с письменного стола чернильницу и метнул ему в лицо. Что было дальше, не помню. Очнулся уже в камере. Ждал расстрела. Приговор: три месяца отсидки, месяц на формирование штрафбата — это приравнивалось к высшей мере (вместо «десятки» давали 2 месяца).

Самым страшным было ощущение несправедливости. За что???

Многие годы я не в силах был писать о штрафном батальоне и никому об этом не рассказывал. Стыдно было. И только теперь, прожив восемь десятков лет, я рискнул написать «Поэму дороги», где и плен, и штрафбат, и судьба отца, ушедшего с первой Мировой в Добровольческую Армию, где стал казачьим капельмейстером...И та же дорога, те же станицы, как у отца двадцать лет назад, когда он «нищевродам» возвращался с Кубани домой, в Ростов.

Штрафные батальоны появились согласно приказу №227 наркома обороны Сталина летом 1942 года, когда действующая армия была практически разгромлена, когда мы всё время отступали, а немцы подходили к Сталинграду. В этом обвинили солдат и младших офицеров, их обвинили в трусости и в том, что они врагу сдают города и сами сдаются в плен. Вместо того, чтобы расстреливать или сажать в лагеря, провинившихся командиров Красной Армии и солдат посылали в штрафные батальоны, где они должны были кровью искупить свою вину. Командиром штрафного батальона не назначали приказом, эту должность занимали желавшие кадровые офицеры, пользовавшиеся значительными льготами. Так и наш комбат не был осужденным. И в бой он шел вместе с нами, правда сзади наших цепей.

Много позже один из моих друзей сказал:

— Так ты всего шесть месяцев провел в тюрьме и в штрафбате, а я десять лет сидел в лагере.

На это я ответил:

— Да, ты сидел десять лет, а я ежедневно ходил в обнимку со смертью».

Попасть на фронте в штрафной батальон — это практически стопроцентная смерть!

Чаще всего штрафные батальоны участвовали в ночных разведках, действовали в особых условиях. Обычная атака начиналась артиллерийской подготовкой, затем бомбардировщики и штурмовики наносили удар, и лишь потом наступало время танков, поддерживаемых пехотой. У нас все было по-другому. В первую же ночь, нам

приказали пройти через минное поле и закрепиться за ним. Это было близ донского города Калач. Немногие выжили. Мне повезло: был ранен в первые же минуты, но, к счастью, меня подобрали санитары.

Накануне я предчувствовал, что буду ранен, и когда это произошло, уже теряя сознание, подумал, что не умру. Чем можно объяснить такое? Взрывной волной меня выбрасывало из седла в придорожное кукурузное поле — и ни одной царапинки, только оглох на несколько дней...А однажды после атаки обнаружил, что полы шинели пробиты пулями, и ни одна не задела меня. Чувство береженности вспомнилось через много десятков лет, и я закончил свою «Поэму дороги» такими строками:

В ночь, когда нас бросили в прорыв,  
был я ранен, но остался жив,  
чтоб сказать, хотя бы о немногом.  
Я лежал на четырех ветрах,  
молодой безбожный вертопрах,  
почему-то бережённый Богом.

Только теперь я понимаю, почему в поэму «Начало» не вставил рассказ о втором пленении. Какое-то чутье подсказало, что этот эпизод перегрузит и без того перенасыщенное событиями повествование. Подряд два побега из плена — это уже чересчур.

Жизнь — неправдоподобна, но искусство требует правдоподобия. У Твардовского в «Теркине» есть тоже неправдоподобный эпизод в главе «Переправа». Попробуй не подохнуть в ледяной воде!

А разве можно верить в историю о старшине? Фамилия его, кажется, была Мошнин. Здоровенный такой детина, из моряков Волжской флотилии, приписанный нашей дивизии. Не история — анекдот. Ночью старшина вместе с несколькими бойцами тащили от полевой кухни ведра с супом и пишенной кашей да заблудились в темноте, забрели в расположение противника и наткнулись на пулеметное гнездо. Мошнин с перепугу оглушил немецкого пулеметчика ведром с кашей, а второго — ребята слегка придушили и приволокли двух «языков» к нашим окопам. Вместо ужина.

Свое «преступление» я смыл кровью.

После госпиталя мне вернули звание лейтенанта, но награды так и не вернули. Ну и бог с ними! Ведь у меня появился огромный шанс выжить!

Я попал уже в обычную часть, в стрелковый полк, прямоком на Сталинградский фронт. 62-я и 64-я армии. Сталинград был разрушен — весь в руинах: «курганы битых кирпичей, могильники пустых печей».

Недавно я видел американский фильм об этой битве. То, что там показано, полная ерунда по сравнению с тем, что было на самом деле. Сталинград был мертвым городом: не осталось ни одного целого здания, лишь обугленные руины напоминали о жилых кварталах, магазинах, театрах. Создавалось впечатление, что в этом аду не смог выжить ни один человек. Однако, когда немцев окружили и выбили из города, из каких-то подвалов, укрытий, землянок стали появляться закутанные в тряпье люди, иногда — целые семьи. Они жили там, скрываясь месяцами. Как они жили? Я этого никогда не мог понять.

Тяжело было писать о днях обороны Сталинграда.

Бой, особенно ближний, тем более рукопашный бой, не поддается связному словесному выражению. В бою мы находимся скорее в бессознательном состоянии. Как бы в отключке. Память не фиксирует деталей. Об этом я пытался написать в одном из стихотворений:

Когда вперед рванули танки,  
Кроша пространство, как стекло,  
А в орудийной перебранке  
Под снегом землю затрясло,

Когда в бреду, или, вернее,  
Перегорев душой дотла,  
На белом, черных строк чернее,  
Пехота встала и пошла,

Нещадно матерясь и воя,  
Под взрыв, под пулю, под картечь,  
Кто думал, что над полем боя  
Незримый ангел вскинул меч?

Но всякий раз — не наяву ли? —  
Сквозь сон, который год подряд  
Снега белеют, свищут пули,  
А в небе ангелы летят.

Во время большого наступления в декабре 1942 года я был тяжело ранен в грудь и позвоночник. Девять месяцев провалялся в тыловом госпитале, в уральском городе Златоуст. Удивлялся тишине, трамваям, медсестрам...но рвался на фронт. Мне было двадцать с небольшим.

В то время я — помощник начальника штаба полка — получил приказ возглавить батальон. Одна из рот этого батальона была укомплектована узбеками. Слабо подготовленные бойцы, они не понимали, за кого и почему должны сражаться, да и вообще не хотели воевать. Однажды во время очень жестокого боя они бросились врассыпную, оголив фронт. Всех их скосили пулеметные очереди заградотряда, стоявшего позади наших оборонительных рубежей с целью преградить путь дезертирам и тем, кто отступал без приказа. Недаром Наполеон сказал, что сто французов стоят тысячи Мамелюков...

Наша победа была неизбежна.

И все-таки наша победа — чудо.

После Сталинграда все почувствовали, что перелом наступил. Лежа на снегу, я видел, как мои бойцы вели пленных немцев. Не я был в плену, а — они. А как мы ждали открытия второго фронта!?

После Сталинградской битвы стала значительно ощутимей помощь союзников: тушенка и шоколад стали для офицеров постоянными продуктами в их пайке. Что касается оружия, то наши пистолеты-пулеметы Дегтярева и Шпагина были намного лучше американских и английских. Так что войну выиграла не американская тушенка! Мы могли обойтись и нашим пшеничным концентратом! Это — наша Победа, за которую сполна заплачено нашей кровью.

Думаю, что всего один раз союзники действительно оказали большое влияние на ход войны. Это произошло раньше в декабре 1941 года, когда они заявили, что если

Германия будет использовать ядовитые газы, то и они применяют против нее химическое оружие. Если бы немцы осмелились использовать свой зарин, табун или фосген на нашем фронте, они достигли бы Урала за две недели. На мой взгляд, союзники открыли «второй фронт», чтобы не позволить большевикам захватить Европу. Они уже тогда боялись нас, нашего «варварского и азиатского» народа. Справедливости ради надо заметить, что отчасти мы заслуживаем такое определение. Как раньше говорили: «Где Иван прошел, трава не растет».

Это надо пережить, чтобы понять. Представьте себе, что чувствовали эти солдаты, которые освободили Россию, Украину, Белоруссию, которые увидели столько уничтоженных городов и сожженных деревень, расстрелянных стариков, детей и раненных женщин. Эти солдаты, многие из которых потеряли свои семьи, не могли испытывать жалость к врагу.

С годами память притупляется, подробности стираются, но война остается в сознании как нескончаемый многолетний поток таких испытаний, какие можно вынести только в молодости. Мы тогда почти не болели, не было даже банальной простуды или поноса, а ведь ели что придется, пили болотную воду, спали под открытым небом, часто на снегу или в снегу. Приходилось, как я писал, «нырять в снеговую постель» или пить «для сугреву» из флакона тройной одеколон, добытый на бесхозном аптечном складе, а в сильную жару, когда капли воды не найти, с радостью раскалывали кулаком арбуз на заброшенной бахче, или, скатываясь в придорожный кювет, с любопытством молодости смотрели, как из брюха пикирующего «юнкерса» вываливаются бомбы и рвутся, переворачивая телеги обоза.

Когда после побега из плена и выхода из окружения я угодил в обработку Особого Отдела, мне стало понятным, в мои-то двадцать лет, как пагубно и преступно сталинское недоверие к тем, кто возвращался домой из вражеского тыла. Это были самые верные и закаленные войной люди, а их объявляли предателями. Какими

кадрами жертвовал Верховный Главнокомандующий!

Я думаю, что XX век был веком Антихриста, безжалостным временем. Почему у России столь трагическая судьба? Почему произошла революция 1917 года? Почему возник сталинский режим?

Я боюсь, что и сейчас мы на пути к Апокалипсису, в ожидании Армагеддона.

Что еще сказать?

Вспоминать войну непереносимо: слишком много высокого и низкого пришлось увидеть. Вся моя остальная жизнь накладывалась на пережитую войну. Вся!

Господь меня уберёт.

Может для того, чтобы я написал свою Книгу жизни.

Известно, что Ревича долго не подпускали к литературе, не печатали стихов, не предлагали переводить. Его книги припозднились с выходом лет на двадцать пять. Но он — нестигаемый и настырный — писал «в стол» и совсем не на заданную тему. Его стихи о войне не всегда созвучны стихам советских поэтов-фронтовиков, живших с ним в одно и то же время и прошедших тот же адский путь войны, однако военный опыт Ревича был иным, особенным — он сражался не только с фашистами, но и со своими внутренними врагами.

В первые годы своего литературного пути Ревич переводил «за кого-то», то есть был «литературным рабом» (была такая форма работы и жизни в советской литературе), под его переводами стояла другая фамилия (так и не назвал имени своего рабовладельца). Жили довольно скромно на заработки жены Муры, учительницы английского языка:

— Я и в школе преподавала, и по всей Москве бегала по частным урокам, пока Ревич выписывался...

Семью спасли переводы для «Библиотеки всемирной литературы», Ревич переводил всех, кого предлагали. Зная французский и польский, ловя на слух латынь и славянские

языки, больше всех любил переводить французов и поляков. Поль Верлен и Константы Ильдефонс Галчинский в переводе Ревича — блистательны. Позже были «Трагические поэмы» Теодора Агриппы Д'Обинье, которого он переводил десять лет и с которым сросся, сроднился так, что его русский почерк стал переходить на старофранцузскую вязь Агриппы... Но самое главное, по признанию Александра Михайловича, — Агриппа привел его к Богу, что гораздо ценней, чем Государственная премия за этот переводческий подвиг, сравнимый по масштабу с подвигом великого Гнедича, переведшего гекзаметром поэмы Гомера.

Настал новый период в поэзии Ревича — библейские стихи, высвеченные верой, когда он нашел в себе силы признаться: «я семь десятков лет на свете прожил, и только на восьмом заговорил». Стихи становились молитвой, уходившей в небеса, а молитва — стихами, спустившимися с небес. Видимо, этим светом было озарено его удивительно плодотворное творческое долголетие. Поэту, который сказал «даже не услышанный, не сетуй, говори в пространство, говори», наверняка отзывались другие пространства, потому что он сам стал другим:

*Теряя слух, теряя вес,  
Душа едва держалась в теле.  
Я слышал музыку небес,  
И это было в самом деле.  
Но как могу я передать  
Ту сладость звука, ту истому,  
Ту неземную благодать,  
Что чувствовать нельзя живому?*

Или:

*К югу ушли перелетные птицы,  
Прочь от пожаров умчался Пегас.  
Тысячи душ, не умевших молиться,  
Как мне, скажите, молиться за вас?*

Поэзия Ревича последних двадцати лет полна пророческих прозрений, проговорков, помогавших ему по-иному переосмыслить прошлое и не обольщаться иллюзиями будущего.

*Исчезли два тысячелетия,  
Чужая даль и наша близь.  
Ты спросишь, что несет нам третье,  
Молчи и Господу молись.*

Или:

*За что мне выпало такое,  
Ведь не был свят я никогда?  
Быть может, чтоб не знал покоя  
И жил, сгорая от стыда.*

У Ревича много стихов-видений, стихов-снов — прямо-таки циклы: «Сон о Данииле», «Сны фараона», «Сон о потопе», «Сон об Армагеддоне», «Сон об Арарате», а наряду с этим — «Сон о Владикавказе», «Сны о Блоке» и др. И это не стихи «на тему», в них не только библейские аллюзии, нет, в них — события истории, шум времени, реалии современной жизни, пролетевшей «с подрезанными крыльями»:

*Я исчерпал страх и дух спокоен,  
Бой уходит по сухой стерне,  
Господи, я Твой последний воин,  
Хоть в последний раз, в последнем сне.*

Личная судьба Ревича — это роман-эпопея в стихах и поэмах.

Лирические стихи, звенящие тютчевской бронзой, немногословные и даже скупые на первый взгляд, не всегда построены на классических размерах, но всегда — на точных рифмах (на смерть стоял за точные рифмы!), завязаны и замешены на «воспаленной лирике» эпических поэм. Почти все поэмы (Ревич категорически отрицал сюжетность своих поэм) тоже крепко переплетаются, перекликаются, продолжают, выстраиваясь в сквозные темы и вариации, пуская корни в Вечность. Так и с переводами, которые, прижившись на русской почве, дышали и прорастали уже новыми оригинальными стихами Ревича. Вот, например, стихотворение «Из Верлена»:

*Так лови же музыку, лови,  
Чтобы стих твой мог раскинуть крылья,  
Чтоб душа летела без усилий  
К небесам другим, к другой любви.*

*Пусть строка почувствует касанье  
Утренней прохлады, пусть ветра  
Дух приносят мяты и чабра.  
Остальное всё — чистописанье.*



Всё как в общей системе кровообращения, где венозная и артериальная кровь питают и обеспечивают жизнеспособность единого организма. Вот некоторые примеры этой взаимосвязи: Верлен — Ревич, Галчинский — Ревич и Лермонтов, удивительно точно по тексту, по звуку и интонации переведенный Александром Михайловичем на французский язык.

Снайперский взгляд когда-то синих глаз, весьма подвижные — сколько оттенков — тонкие ироничные губы... И сам — невысокий, ладно скроенный, а в последние годы — сухой, жилистый, но все еще выносливый, не теряющий своего воинственного максимализма и непредсказуемости, буквально вспыхивающий на взлетах настроения или гаснущий от ненастроения. Внешне очень похож на Фернейского патриарха, на Вольтера (старость, правда, многих делает похожими друг на друга), особенно формой головы и прорезью улыбки, почти как на скульптуре Ж.-А. Гудона. И оба — Скорпионы!

Ревич великолепно читал наизусть чужие и свои стихи, и даже поэмы (до последних дней поражая феноменальной памятью), «вкусно» произносил слова и точно акцентировал смыслы, что не так уж часто среди поэтов и совсем редко — среди актеров. Эта естественная манера — в меру театральная, без форсажа, подкрепленная убедительностью авторской интонации, — впечатляла и запоминалась. Многих, особенно женщин, завораживал его певучий баритон, который прибавлял ему мужественности и даже роста.

В последние месяцы, когда поэт тяжело и неизлечимо болел, он стал очень нежным. Разговаривал, не отпуская рук, прижимая их к давно не бритой прохладной щеке. Сколько ласковых слов наговорил в последнюю нашу встречу! Я понимала: прощается.

— Знаешь, девочка, какой сон мне на днях приснился? Сначала услышал, а потом и увидел: ангелы поют и молятся обо мне, а демоны им мешают — бузят, возятся. Вместе с ангелами пел отец Павел, и матушка Наталья подпевала... Дивный сон. А после звонит матушка Наталья: мы рано утром вместе с отцом Павлом молились за вас. Вот так. Представляешь? Так я об этом стихотворение написал.

Он никогда не произносил «стишки», а от слова «текст» прямо-таки взвизывал под потолком.

— Я тут ничего не придумал, — продолжал он, — только поставил посвящение матушке Наталье, читай, читай вслух!

Он протянул лист бумаги со стихотворением, написанным 19 октября.

Лицейский пушкинский день.

Я прочитала.

— Ну, как?

И не дожидаясь ответа:

— Я — гений, а?

— Гений, конечно, гений!

Александр Михайлович откинулся на подушки, и стало видно, как он устал, но откуда-то взялись силы, и он блаженно заулыбался, принимая всю условность нашей словесной игры и в то же время веря, как ребенок, что все, конечно, «взаправду»....

Через день Александр Михайлович Ревич ушел туда, где поют ангелы, где «несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»...

Когда я одевалась в прихожей, он приподнялся в постели и вдруг крикнул вслед да с такой силой:

— Я еще и поэму напишу!

— Верю, Алик, верю! Конечно, напишешь, без этого ты бы не был поэтом, не был бы Ревичем! **НО**